

Алексей Поликовский

Жена миллионера

Алексей Поликовский

Жена миллионера

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28509918

ISBN 9785449013903

Аннотация

Варварская Москва и благородный Монтре – декорации для азартной русской игры, участники которой ставят на кон самих себя. Ими движет самое острое человеческое желание: желание сбыться. Они хотят овладеть не друг другом, а самой жизнью, ее самым сладким куском. Все виды человеческой жажды – жажда счастья, жажда любви, жажда обладания, жажда денег – находят тут свое место.

Содержание

Глава первая	5
1	5
2	14
3	19
4	22
5	25
6	28
7	31
8	35
9	38
Глава вторая	43
1	43
2	49
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Жена миллионера

Алексей Поликовский

Фото на обложке: Монтре. Набережная Женевского озера

Фотограф Алексей Поликовский

© Алексей Поликовский, 2017

© Алексей Поликовский, фотографии, 2017

ISBN 978-5-4490-1390-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая

1

Я познакомился с господином Болдыревым на высоте десяти километров над землей, в салоне бизнес-класса «Боинга-777», летевшем из Москвы в Женеву. В бизнес-классе нас было только двое. За нашими спинами, отделенные переборкой, толкались в проходе и распахивали сумки по полкам ординарные пассажиры, а мы здесь наслаждались приятной пустотой; они там жались в ряд по три, а мы свободно откидывались на спинки кресел, вальяжно вытягивали ноги и дегустировали французский коньяк, поданный рослым стюардом в красном фирменном пиджаке. Во внимательных взглядах, которыми мы быстро обменялись, было уважительное любопытство: кто ты такой, мой избранный брат, если сумел, как и я, купить себе на три часа частичку воздушного комфорта, недоступного простым смертным? Куда и зачем летишь и как достиг этого приятного состояния, в котором абсолютно неважно, потратишь ты на билет тридцать тысяч рублей или девяносто? Солидарность нуворишей. Классовое чувство буржуазии. Не знаю, как еще назвать такое состояние, но во всем этом всегда есть, конечно, молчаливый цинизм людей, владеющих миром.

Я уже не помню, какой фразой он начал наше общение, хотя точно помню, что это он заговорил со мной, а не я с ним. Кажется, он сказал что-то о коньяке, который оказался не так хорош, как он ожидал. Ну, может быть, я не считаю себя таким уж ценителем французских коньяков, чтобы отличать «Camus Elegans» от «Camus Borderies». А вот он очень хорошо отличает один от другого, и — я могу ему поверить!, заверил он меня с многозначительной улыбкой — коньяк этот дрянь. Пусть так. Тогда он встал, выпрямился во весь свой немалый рост, достал из кармана своей серой замшевой куртки черную плоскую фляжку с серебристой пробкой на цепочке и не без торжественности показал ее мне. Пробка в его пальцах холодно просияла ледяным серебром, и лицо его приняло выражение мага, который готовится сдернуть с клетки платок и показать публике петуха на том месте, где только что сидел кролик.

Не угодно ли мне? Ну, мне угодно. Отчего же нет? Мы выпили с ним коньяка из его фляжки, и я похвалил коньяк и для поддержания разговора спросил, что за сорт. Он заулыбался многозначительной улыбкой посвященного, которому известны кое-какие тайны. Ответ его сводился к тому, что пить стоит только такие-то и такие-то коньяки (названия их тут же вылетели у меня из головы), потому что их выдерживают в дубовых бочках особой конструкции; все дело именно в дубовых бочках, а также, конечно, в температурном режиме, который следует соблюдать в подвале с точностью до де-

сятой доли градуса. Я, опять же, ради вежливости и движимый желанием поддержать разговор, спросил его, нет ли у него и самого таких знатных подвалов и таких прекрасных бочек и не производит ли он сам какой-нибудь редкий сорт. Небольшими партиями, бутылок по пятьсот в год, не ради бизнеса, а ради удовольствия иметь собственную марку. Он заулыбался. О да, он знает, что у актера Депардьё есть виноградники, что хоккеист Ларионов по прозвищу Профессор производит свой сорт вина... но он этим не занимается. Он коньяки не производит, он их пьет. И он опять налил мне из своей обтянутой тонкой кожей чудо-фляжки пятьдесят грамм крепкой жидкости цвета темного янтаря, пахнувшей фиалкой и дубом.

Каждый, кто летал в Женеву, знает, что самолет долго летит над Альпами. Долго и низко, так, что можно рассмотреть ленты шоссе, выходящие в огромных, черных с белыми шапками горах, а также отдельно стоящие дома под большими черепичными крышами, потемневшими от ветров и времени. Рядом с домами хозяйственные постройки. Во дворах стоят несколько автомобилей и рядом с ними красный трактор. В один момент, когда полет уже шел к концу и самолет снижался, чуть наклонившись на левое крыло, мой попутчик прикинул к иллюминатору и стал перечислять мне голосом хозяина, показывающего свои владения гостю: «Вот это Монблан... вон там Маттерхорн... а вон там, левее, Юнгфрау». Потом вдруг отстранился от иллюминатора и доба-

вил: «А вот там мой дом... Видите? Видите, вон там!» Я глянул через его плечо в иллюминатор и ничего не увидел, кроме снежных пиков в яркой голубизне. Черные каменные складки тянулись вниз, как наросты на шкуре спящего глубоким сном динозавра. Горы были бесконечны, за одним пиком вставал другой, они уходили вдаль, эти черные горы и белые снежные шапки и пустынные девственные лощины под чистейшим сияющим небом. Где-то там, вдали, горы плавно сходили на нет, и начиналась милая моему сердцу, прекрасная Италия.

Вместе с моим неожиданным попутчиком мы по эскалатору съехали в пустынный зал аэропорта. Я уже знал это ощущение, которым каждый раз начиналась *моя* Швейцария: ощущение спокойствия после безумия московских улиц, ощущение добротной, чуть вялой тишины после напряженной сумятицы Шереметьево-2. В Швейцарии хорошо спать, переваривать пищу и совершать длинные пешие прогулки. Он спросил, где я тут живу. Я ответил, что я тут не живу, а останавливаюсь на время, всегда в одном и том же небольшом отельчике под названием «Modern». Долго тут пробуду? Может, неделю, может, две. В Женеве мне надо было перебросить со счета на счет кое-какие суммы, а в остальном у меня тут не было никаких дел. Впрочем, у меня их не было и в других местах тоже; уже несколько лет я жил без цели и плана, в приятном рассредоточении ума и чувства, которое, однако, по утрам и вечерам иногда приводило

к приступам глубокой тоски. Он сказал, что я могу заехать к нему в гости, он будет рад, и дал мне визитную карточку, отпечатанную на тончайшем коричневом картоне, едва уловимо пахнувшем сиренью. Так я узнал, что его зовут господин Болдырев и он живет в Монтре.

На пятый день моего пребывания в Женеве повалил снег. Только что небо сияло голубизной, воздух над городом был напоен светом, и городские власти, салютуя весне, включили на озере знаменитый фонтан – струю, которая бьет вверх на три сотни метров. Но весна оказалась ложной, и фонтан пришлось выключать. Небо серыми комьями сползло с гор и накрыло город. В узких улицах старого центра на вершине горы потемнело. Улицы, и без того не особенно оживленные в вечерний час, в непогоду совсем опустели. И я, застегнув мою непромокаемую и непродуваемую канадскую арктическую куртку фирмы «Kelsby», подняв капюшон, до глаз затянув лицо, вечером от нечего делать бродил по набережной в густых потоках крупного, мокрого снега.

Все мои немногочисленные дела к этому моменту уже были сделаны. Несколько визитов в один банк и несколько в другой; несколько коротких бесед с молодыми клерками, вежливыми и предупредительными; несколько раз поставил подпись внизу нескольких листов бумаги; вот и все дела господина из России, пользующегося тайной вклада. Затем я, как обычно, сходил во французское кафе, где только неопыт-

ные туристы, сев за длинный стол, просят меню. Меню тут не надо просить, потому что всем подают только одно блюдо: бифштекс с жареной картошкой. Когда картошка у вас на тарелке кончается, официант щедрым жестом добродушного хозяина подсыпает вам еще, но только один раз. После того, как вы во второй раз уничтожите картошку, никто к вам больше не подойдет и даже на вас не посмотрит. Это Швейцария, мой дорогой, то есть такой приятный для человека с деньгами, очень хорошо проработанный в деталях, очень достойный, исполненный самоуважения мир, который, однако, *себе на уме*. И никакой второй добавки вы тут никогда ни от кого не дождетесь.

После Москвы мне в этой маленькой провинциальной Женеве местами бывало смешно. Например, однажды я попытался войти в синагогу, но меня не пустили, потому что охранник не знал меня в лицо. Мимо меня важно, как владетельный князь, проковылял вразвалку крошечный человечек с головой, формой похожей на тыкву. У него было очень неприятное выражение лица и крошечные ноги в мягких фетровых ботах. Охранник тут же склонился перед ним в поклоне. Это был, как я понял, столп общины, богатый еврей, чьи предки пять веков назад открыли здесь банк и с тех пор все давали и давали деньги под проценты. Я толковал охраннику, что хочу посмотреть на убранство синагоги, но он был неприступен и настаивал на своем праве на face control; я плюнул на него, плюнул на карлика-ростовщика

и отправился чуть дальше, где рядом с домом, где когда-то жил Лефорт, стояла русская церковь. Не один Бог, так другой; не менора, так распятие; для меня все это одно и то же. Сюда меня пустили без проблем, и никому не было тут до меня дела, и у входных дверей висели объявления на русском, начинавшиеся со слов «Ищу работу...», и надо всем здесь витал дух сиротства.

В Женеве я никак не мог привыкнуть к тому, что они в конце недели закрывают свои кафе и рестораны когда хотят, потому что у них начинаются какие-то домашние дела, или приходят в гости родственники, или просто им в пятницу вечером лень работать. С моей московской привычкой в три часа ночи съездить поужинать в ресторан здесь лучше не жить. Они тут, эти швейцарцы, устроились настолько по-семейному, что могут даже выставить тебя из ресторана, в котором ты уже сел за столик. Со мной так случилось один раз. Я сел за столик и углубился в изучение меню, когда вдруг на кривых ногах подгребла грозная старуха в закрытом черном платье с манжетами и сердито объявила мне: «Finis!» Это была хозяйка. Иностранца она просекла во мне сразу же и вдаваться в беседы не желала. Ну и черт с тобой и с твоим сырным фондю. Я ушел и в скором времени завел себе знакомую блондинку-продащицу в стеклянном павильончике неподалеку от отеля. Через день она уже встречала меня улыбкой. Этот павильончик был всегда открыт до позднего вечера, там были свежие газеты, сэндвичи и булочки.

Я устраивался на табурет у высокого столика с мраморной крышкой, с умным видом разворачивал французскую газету и долго пил горячий чай с бутербродом. По-французски, кстати, я не читаю. И не говорю.

Поев в павильончике на углу двух пустынных улиц, украшенных мигающими светофорами, я возвращался в отель, проходил к лифту мимо маленькой филиппинки, стоявшей за стойкой с неизменной улыбкой на лице, и поднимался в свой номер. Вечерами в тот месяц по «Евроспорту» показывали бои без правил, и я, лежа в кровати, смотрел их, пока не засыпал. Шел какой-то всемирный турнир по боям без правил, и на ринг, установленный в Японии, выходили безумные персонажи с пудовыми кулаками и ребрами ладоней, набитыми до твердости камня. Маленький японец, стоило только судье дать сигнал к началу боя, пригибался и на четвереньках летел вперед и вцеплялся руками и ногами в противника ниже его пояса и уже больше не отлипал, как тот не мутил его. Негры с лоснящимися телами сплетались во всех видах борьбы и душили друг друга, живописно лежа на брезенте ринга. Потом на ринге возник высоченный белорус с длиннющими руками и ногами и умудрился резко поднять колено в ту секунду, когда маленький японец на четвереньках бешено летел вперед; колено и лицо врезались друг в друга, и японец упал замертво. Я наблюдал сцены гладиаторских боев сначала с недоумением, потом с отвращением, а потом и с интересом. В глупости есть свое оча-

рование. Было очень глупо торчать по вечерам в номере гостиницы в этом сытом и сонном городке в предгорьях Альп и глазеть на варварские забавы, которыми тешила себя политкорректная старушка Европа. Мокрый снег все шел. Тогда я подумал, а не съездить ли мне в гости к соотечественнику, господину Болдыреву? И на следующее утро я поехал.

Поезд из Женевы до Монтре идет один час. Вроде бы небольшое путешествие, но сколько впечатлений оно вмещает! Сидя у окна в полупустом вагоне, я смотрел на озеро. Железнодорожные пути проложены тут по самому его краю, в метре от воды. Поезд погромыхивает, часто останавливается, впуская и выпуская редких пассажиров, потом с натужным звуком трогается вновь. Озеро завораживает. В нем есть что-то неправдоподобное. Оно лежит на расстоянии вытянутой руки, огромное, долгое, гладкое, вбирающее в себя небо и горы. Горы высятся по ту его сторону, массивные и при этом соразмерные озеру и небу, бело-черные, безлюдные, одинокие. И озеро тоже безлюдно и одиноко. В этой пустоте человек лишний.

Я всегда ощущал себя в жизни необязательным элементом, но тут это ощущение усилилось во сто крат. В поезде, идущем по берегу Женевского озера, в метре от чистой, тихой, едва плещущей воды, это ощущение расширяется на всех людей вообще. Зачем они нужны тут, в этом идеальном месте, где вода, небо и горы образуют сдержанную, молчаливую вечность? Нигде, ни в одном другом месте я никогда не чувствовал так остро всю вульгарность и пошлость жизни как таковой. Рядом с этими горами и этой гладкой водой, на фоне этого бледного и отстраненного неба чело-

вечество кажется заразной плесенью, проникшей в рай, созданный совсем для других существ. Каких? Откуда я знаю? Я бы не удивился, если бы озеро вдруг вздулось огромным водяным холмом, и в опадающих потоках проступила бы фигура рыцаря в латах, с сияющим мечом в руке и с черным плюмажом на шлеме с опущенным забралом. Как описать тот неумолчный, тяжелый, наполняющий всю поднебесную звук его шагов, когда он шагает по озеру по колено в воде, все ближе и ближе к прибрежным городам, по улицам которых в панике бегут прочь крошечные человеческие фигурки? Как рассказать о том гневе, который струится из-под его опущенного забрала, как поведать о том неумолимом холоде, который стекает с кончика его меча? Но вот в динамики объявили Монтре, и я вышел на перрон и спустился на главную улицу.

Господин Болдырев подробно объяснил мне по телефону, где находится его дом: пять минут езды на такси или двадцать минут пешком по променаду. Я выбрал променада. Была ранняя весна, отели и виллы стояли тихие и пустынные на берегу озера. Шторы на окнах небольших отелей были опущены, двери заперты, не сезон. Я шел по асфальтовой дорожке и не встречал ни души. За оградами, под навесами, громоздились штабеля белых пластмассовых стульев, парусиновые зонты были сложены, земля была мокрой, по каменному акведуку с гор со звоном стекала быстрая прозрачная вода. Аккуратные синие указатели показывали направ-

ление прогулки. Размеренным спокойным шагом двигаясь вдоль тихой воды, я ввел себя в медитативное состояние безразличия и покоя; мне пришло в голову, что в этом комфортабельном раю асфальтовая дорожка наверняка проложена так, что по ней можно обойти все Женевское озеро. Сколько на это уйдет времени? Может быть, месяц, может быть, два; и я глянул на тот берег, где у подножья гор были едва видны маленькие домики захолустной швейцарской деревеньки.

Дом господина Болдырева открылся мне вскоре в глубине участка. Я где-то слышал или читал, что иностранцы не имеют права покупать недвижимость в Монтре; Фредди Меркури, чтобы купить тут квартиру, должен был прежде обзавестись разрешением муниципалитета, выданным ему в честь его великих заслуг перед мировым искусством. Теперь статуя вокалиста «Queen» стоит в центре города, на набережной. Но нам, хищным детям русских девяностых, запреты, как известно, нипочем; и господин Болдырев как-то разрулил ситуацию. Может быть, он оформил дом на подставное лицо, а может, представил в муниципалитет документы, свидетельствующие о его больших заслугах перед музыкой. Или физикой. Это был скромный двухэтажный дом с передней застекленной стеной, выходящей на озеро, и открытой террасой на втором этаже, огороженной металлическими перилами с завитками в стиле модерн. Над террасой высился металлический каркас с такими же завитками, предназначенный для того, чтобы в жаркий день растянуть полотняный

тент. Я толкнул калитку и по дорожке, вымощенной крупными белыми плитами, пошел к дому. Во всем, что я здесь видел, была свободная, необременительная неприбранность: раскисшая земля клумб, решетка с голыми щупальцами какого-то вьющегося растения, забытый в углу пластмассовый стол, чьи ножки утопали в остатках слежавшегося снега, каменная ваза у железной калитки, из которой торчали сморщенные, поникшие головки давно отцветших роз.

Я шел по дорожке, когда на втором этаже открылась дверь, и господин Болдырев появился на террасе. «Здравствуйте! Ну как, нашли без проблем?» – негромко спросил он, облачаясь о перила, но голос его разнесся далеко и был ясен и отчетлив в идеальном озерном воздухе. «Конечно!», – бодро отвечал я, чуть покачивая в ритм шагам моим длинным черным зонтиком. Он был в сером свитере и в мягких вельветовых брюках густо-синего, с фиолетовым отливом, цвета. На ногах у него были толстые шерстяные носки и коричневые туфли без задника. Его русые, начавшие редеть волосы были зачесаны назад, на щеках и подбородке легкая светлая щетина. Он не брился дня три. Он напоминал шкипера, сошедшего на берег, или писателя, в романтическом уединении пишущего роман, или отошедшего от дел шпиона. Когда я по массивной деревянной лестнице внутри дома поднялся на террасу, оказалось, что он уже поставил на длинный стол бутылку французского коньяка и два пузатых бокала. Блюдечко с нарезанными ломтиками лимо-

на тоже было тут. Стол был деревянный, без скатерти, кое-где на дереве были видны коричневые точки, прожженные сигаретами. «Давайте выпьем! – предложил он, разливая, – а чуть позднее у нас будет обед...»

С бокалами в руках мы сидели и смотрели на озеро. Какими-то фразами мы обменивались, но я их отпускаю, за ненужностью и неважностью. Я их просто не помню. Озеро раскидывалось перед нами во всей своей красе: спокойное у берега, дымящееся туманом вдали, подернутое чистым серебром в середине, огромное, безразличное, живое. По ту его сторону вставали горы с белыми остроугольными шапками. Небо было бледным, как полузабытый сон. «Мы практически ни с кем здесь не общаемся. Живем тихо, отстраненно», – вот эту его фразу я запомнил. И еще: «Есть причины, по которым я не могу бывать в Москве. Россия для меня после некоторых событий заказана». Он задумчиво покачал в руке бокал, на треть наполненный коньяком, и задал вопрос, банальность и бессмысленность которого поставила меня в тупик. «Ну, и как там дела, в Москве?»

Я рассказываю о событиях трех- и четырехлетней давности, которые уже заслонены от меня другими событиями, другими встречами и другими моими путешествиями, и поэтому точный, стенографический отчет о наших с господином Болдыревым беседах невозможен. Я же не писатель и не журналист и ничего не записывал. Теперь мне этого жаль. Иногда я вижу его сидящим на террасе, под голым металлическим каркасом, с пузатым бокалом, на треть наполненным коньяком, и слышу звук его голоса, но никак не могу наполнить этот звук смыслом. Какие-то его реплики и фразы мне очень хочется вспомнить, они так близко, они вертятся рядом со мной, как маленькие быстрые пчелы, но я никак не могу остановить их полет. Но одно я помню точно: момент, когда я увидел его жену. Это было в первый же день нашего знакомства, даже в первый же час, когда я, оставив мой массивный черный зонт в темной прихожей, поднялся по крутой деревянной лестнице на террасу и сидел там с господином Болдыревым, попивая на свежем воздухе наш первый коньяк. Стеклопанная дверь в углу террасы вдруг открылась, и высокая женщина легкой быстрой походкой направилась к нам.

Опять же, я не помню слов, которые он произносил, представляя меня ей. Все было очень быстро. Она посмотрела

на меня с любопытством, которое удивило меня. Во мне нет ничего, достойного любопытства или хотя бы трех минут интереса. У нее были карие, цвета каштана, глаза, и когда она смотрела на меня, тьма в них сгустилась и стала горячей, жаркой. Всего секунда, но в эту секунду она умудрилась пронзить вас. Я никогда ни у одной женщины не видел такого откровенного, такого смеющегося, такого бесстыдного взгляда. И при этом в нем было совершенно явное, совершенно откровенное любопытство девочки, которая едва сдерживает так и рвущиеся из нее вопросы: «А кто вы такой? А кто ваша жена? А чем вы живете? А сколько у вас денег? А что в вашей жизни было такого интересного, что вы можете мне рассказать?» Все это мелькнуло в ту короткую секунду, когда она улыбнулась мне углами своих нежных, чувственных, чуть припухлых губ и сказала какую-то нейтральную фразу, которую хозяйка дома должна говорить гостю и которую я, конечно, тоже не запомнил.

У нее было бледное узкое лицо с тонким носом и идеальными эротическими губами, которые всегда выглядели так, как будто она только что целовалась с кем-то за дверью. У нее были гладкие, крашеные в красноватый цвет волосы, распущенные по плечам. Она была в темно-синей мужской рубашке с расстегнутым воротом и в синих старых джинсах. Она, как и он, носила дома шерстяные носки и коричневые туфли без задника. Я думаю, две пары этих одинаковых туфель они купили для себя в тот день, когда дом перешел в их

владение; я полагаю, что с этой покупкой у них были связаны какие-то воспоминания и переживания, и еще я считаю, что эта покупка означала для них начало их семейной жизни здесь, в Монтре, на берегу озера; во всяком случае, го-
стям в их доме предлагалась совсем другая обувь. Она была высокой, почти вровень со мной, а у меня рост метр восемьдесят два. Господин Болдырев, кстати, еще на несколько сантиметров меня выше. Он сел, а она склонилась над ним, опершись тонкими руками о подлокотник его кресла, и сказала ему на ухо несколько слов. Он кивнул. Она повернулась ко мне, улыбнулась своей многозначительной манящей улыбкой и ушла.

Итак, мы сидели на террасе, выложенной светлой плиткой, под черным металлическим каркасом, за длинным деревянным столом, на котором стояла бутылка французского коньяка и блюдо с ломтиками лимона. Этот большой и грубый стол был предназначен для того, чтобы собирать за ним большую компанию друзей, которые громко разговаривают на террасе долгими летними вечерами; за этим столом хорошо было бы праздновать дни рождения, годовщины свадьбы, день помолвки и день первого поцелуя. Но ничего подобного в их доме никогда не бывало. Они действительно жили отстранено и в какой-то странной рассеянности. Стол одиноко стоял на большой террасе, и только изредка за него усаживался хозяин и редкий заезжий гость, вроде меня. Вообще, в их жизни почти не было людей, что не удивительно: им хватало друг друга. Когда он смотрел на нее, было ясно, что она для него значит. Когда она наклонялась, чтобы сказать ему что-то на ухо, было понятно, что их связывает глубокая и неисчерпаемая нежность. Но не только. Я с первой же встречи с ними чувствовал и что-то еще, что поначалу не мог объяснить сам себе и выразить словами.

Это была словно какая-то тень, все время висевшая за их плечами. Когда мы чуть позднее в тот день перешли в гостиную на втором этаже и сели обедать, я обратил вни-

мание на ту несколько странную предупредительность, которую господин Болдырев демонстрировал по отношению к своей женой. Иногда она словно впадала в летаргию. Она сидела за столом, опустив ресницы, ничего не говоря, и он тогда начинал волноваться и спрашивал, не стоит ли ему что-то сделать. Сходить на кухню? Принести соль? Из состояния летаргии она очень быстро переходила к состоянию оживления. Тогда на ее бледном лице появлялся румянец, в темных глазах возникал блеск, голос струился, как шелк, и он тогда вновь бросал на нее быстрые взгляды, словно проверяя, все ли с ней в порядке. Иногда они встречались глазами и без слов что-то говорили друг другу. В такие моменты я чувствовал себя крайне неловко, как человек, который случайно стал свидетелем интимной сцены. Во всем этом была какая-то нервная неустойчивость и опасность чего-то, о чем я не имел понятия. Я уже сказал, что им вполне хватало друг друга, но было тут и еще такое ощущение, что они недавно кого-то похоронили и теперь проводят дни в своем доме в растерянности и печали. В глубокой печали. Почему-то шторы на окнах в их доме были всегда наполовину задернуты, и в комнатах было сумрачно, почти темно.

Я пробыл в их доме в мой первый визит к ним три дня, но женщину – ее звали Ольгой – видел только урывками. Она ни разу надолго не присоединилась к нам, ни разу не выпила с нами коньяка, ни разу не села в кресло вместе с нами на террасе. Она иногда появлялась, подходила к нему, гово-

рила несколько слов и уходила снова; у нее как будто все время были какие-то дела. Люди с их состоянием могли бы иметь прислугу, но я заметил, что она сама готовила к обеду и сама мыла после обеда посуду. Посудомоечной машины у них не было. На кухне стояла старая массивная мебель: темно-красный шкаф-сервант с посудой, коричневые стулья с высокими спинками, огромный холодильник «Siemens», включавшийся резким рывком, с сотрясением всего своего большого тела. Его компрессоры гудели, как шмели. Обстановка в доме была под стать кухонной. Я еще расскажу об этом.

Я видел, как она, повязав фартук и засучив рукава рубашки, стоит у раковины и моет тарелки и чашки, в то время как мы с ее мужем пили кофе или дегустировали очередной коньяк из его коллекции. Когда же мы сидели на террасе, я иногда видел, как за стеклом, в их сумрачном доме, бесшумно скользит ее высокая фигура с распущенными по плечам гладкими красноватыми волосами.

Я с самого начала знал, что зачем-то нужен ему. Я почувствовал это еще в самолете, когда он бросил на меня быстрый внимательный взгляд. Это был цепкий, изучающий взгляд человека, который что-то ищет в окружающих его людях; какое-то их свойство и какую-то их возможность, столь нужную ему, что он готов первым заговаривать с незнакомцем. Может быть, таким внимательным, цепким взглядом смотрит на солдат офицер, выбирающий, кого из них отправить в поиск в тыл врага. И я чувствовал, что он, на свой лад оценив меня, затеял ту бессловесную игру, которая называется «Приглашение к знакомству». Он не делал ничего чрезмерного или невежливого, но я ощущал, что он чего-то ждет от меня. Его взгляд, его круглое лицо показывали приязнь.

Когда он склонялся к иллюминатору и показывал мне на свой дом где-то далеко внизу, то я твердо знал, что он ждет вопросов и хочет вопросов; но я сделал паузу и ничего не спросил. На эскалаторе в аэропорту он чересчур рано начал прощаться, как будто специально оставлял себе какое-то время про запас; и руку в карман, за визитной карточкой, он опустил тоже на минуту раньше, чем протянул ее мне. Стоило мне спросить его о чем-то (а я спросил его, например, о том, бывал ли он на курорте в Гштадте и понравилось ли ему там), как он поворачивал ко мне лицо и отвечал с дру-

желюбием человека, который рад помочь; и когда мы прощались, он снова, во второй раз, повторил свое приглашение приехать к нему в гости.

Весь первый день нашего знакомства, сидя с ним на террасе или гуляя по променаду, я чувствовал, что он что-то хочет рассказать мне, да все никак не найдет способ начать. Ну, не скажешь же незнакомцу, с которым только и выпил, что пол литра коньяка: «Послушайте, мой друг, историю моей жизни и моих прегрешений!» Я же никак не помогал ему, оставаясь в ровном и спокойном состоянии удаления от всего на свете. Не знаю уж, чем я так расположил его. Может быть, он чувствовал, что я никуда не тороплюсь и ничего не хочу. В этом смысле я был идеальный слушатель, которого он только мог пожелать: лишенный страстей и готовый внимать о страстях других людей, сам почти уже отрешившийся от жизни и поэтому способный выслушать любую историю без осуждения, но с приятностью и интересом. Или я льщу себе? Может быть и так. Может быть, я просто был случаем, выпавшим на его пути, всего-навсего некой случайностью, которую он хотел использовать, чтобы чуть-чуть изменить образ своей жизни. В конце концов, они жили отрешенно и одиноко, и он почти ни с кем не общался и мог устать от молчания. Поговорить с соотечественником всегда приятно, особенно учитывая, как долго он не был в России. И уже знал, что никогда там не будет. Да и русский язык приятен, говорить на нем хорошо.

Во всяком случае, когда вечером, после прогулки по променаду, мы снова сидели с ним в креслах на террасе, накрывшись коричневыми шерстяными пледами с бахромой, и смотрели, как мягкие сумерки наплывают на озеро и левее, в городе, зажигаются фонари, он вдруг повернул голову ко мне и сказал из темноты: «Хотите, я расскажу вам *о ней?*» Я не удивился. Я уже понимал, что меня выбрали из всех и пригласили за тем, чтобы я слушал. Ну что же, я был готов слушать. «Да, конечно».

Год, когда он познакомился с ней, остался неназванным, да и не имел значения. Это случилось когда-то в прошлом, которое теперь отстояло от настоящего на десять или сто десять световых лет. На той далекой неприбранной планете по имени Москва он был средним клерком в компании, занимавшейся логистикой и имевшей офис в Третьем Рощинском переулке. Он не обозначил год, не сказал названия компании, но точно обозначил московский адрес, где находился офис и где все это случилось.

Тогда это был глухой угол Москвы. От метро на работу он ходил пешком, вверх по переулкам, мимо заброшенной голубятни графа Орлова, в которой потом некие предпримчивые люди открыли сигарный клуб, мимо бетонных заборов, за которыми скрывались ангары, заводские склады и гаражные автосервисы, мимо сарая, рядом с которым всегда пребывала в ожидании стайка помятых, серых мужчин и женщин, у ног которых стояли баулы и сумки. Это был пункт сдачи посуды, и это были алкоголики. Дальше по улице, обозначенной все теми же бетонными заборами, налево помещалась ветеринарная лечебница, а направо мусульманское кладбище. Вот он, высокий мужчина тридцати пяти лет, в спортивной куртке, шагал на работу, и иногда вместе с ним по улице шла какая-нибудь женщина с озабоченным лицом,

имевшая в руках большую сумку с чуть приоткрытой «молнией». И из дырки в сумке высовывалась круглая голова кота, который тревожно озирал незнакомые окрестности.

Однажды избранных сотрудников компании собрали в кабинете президента и хозяина, чтобы представить нового вице-президента. Господин Болдырев входил в это число избранных, которые на местном слэнге именовались «советом директоров». Он сказал мне, что они сидели за черным офисным столом, посередине которого стояла хрустальная пепельница. Больше на столе ничего не было. Хрустальная пепельница, и все. В кабинете хозяина никто никогда не курил, и пепельница, стоявшая на гладкой черной поверхности длинного офисного стола, представляла собой нечто вроде украшения, нелепого, как каменная роза на стене пятиэтажки. Но там вообще, в той компании, были довольно-таки странные понятия о красоте и жизни. Так он сказал, оборачиваясь ко мне в вечерних сумерках, и его круглое лицо с зачесанными назад русыми волосами светилось теплым светом дружелюбия.

Она, эта женщина – «этой женщиной» свою жену назвал он сам – сидела напротив них, у другой стены, на огромном черном кожаном диване, который стоил как хорошая иномарка. Хозяин заказал его в Италии. Огромный диван, толстая, крепкая, лоснящаяся кожа, мощные, как стволы пушек, валики по бокам, высокая спинка. Хозяин что-то говорил, вернее, бубнил себе под нос, уныло глядя в экран раскрытого

перед ним на столе ноутбука. Какие-то обычные в таких обстоятельствах слова о новых задачах, о новых схемах, о новом вице-президенте, которого он хочет представить. Ольга Леонидовна теперь будет управлять... Первое лицо снова погрузилось в монотонную бубнежку, перечисляя функции, отделы и направления. Но господин Болдырев ничего не слышал. Ни слова. Звук будто отрезало. Он сказал мне об этом с мягкой усмешкой, словно извиняясь за самого себя. Он сидел за длинным офисным столом, посередине которого с идиотской радостью сияла хрустальная пепельница, и неотрывно смотрел на женщину напротив.

Она улыбалась. Она улыбалась тонкой, застенчивой улыбкой человека, вдруг очутившегося в центре всеобщего внимания. Ей было приятно это внимание. Ее карие глаза скользили с одного лица на другое в каком-то сомнамбулическом радостном полусне. Она была в синем деловом костюмчике с тусклыми бронзовыми пуговицами, и гладкие красноватые волосы падали ей на плечи. Он с какой-то резкой, нечеловеческой отчетливостью видел ее горячие карие глаза и ее восхитительные, чуть припухлые губы, и ее острый локоть, лежащий на валике дивана, и ее тонкие, тесно сдвинутые ноги в остроносых длинных туфлях. Туфли были черные с тусклой серебряной вышивкой. И вся она светилась, вся она сияла, как пришествие.

Что было причиной озарения, постигшего тридцатипятилетнего мужчину в обстановке, которая, кажется, исключала саму мысль о восторге и любви? Напомню, все это происходило в кабинете президента компании, где на стенах висели мутные авангардистские картинки, в прихожей, источая острую неприязнь к миру, стучала наманикюренными пальчиками по клавиатуре секретарша с плоской грудью, а в коридоре на стеклянных стеллажах стояли древние пишущие машинки, которые президент компании собирал. Там был даже «Ундервуд» двадцатых годов, на котором, по преданию, отстукивал свои тексты в редакции «Гудка» Булгаков. В окно же, как я уже говорил и как еще раз напомнил мне господин Болдырев, было видно мусульманское кладбище, что и вовсе придавало бизнес-планам и логистическим свершениям какой-то юмористический аспект. «Вся логистика заканчивалась на кладбище», – несколько прямолинейно выразил это он, но голос его в вечерней тиши был усталым.

Любовь? Не знаю. Мне никогда не было дано это чувство, а может, я просто никогда не хотел обманываться и не желал принимать за него эротическое притяжение, жажду секса или просто хорошее настроение, разделенное на двоих. Но господин Болдырев очевидно верил в то, что любовь существует, причем не в виде химико-физических реакций,

происходящих в нашем мозгу, а в виде неизвестно откуда возникающего самума, который вдруг врывается в офис в Третьем Рощинском переулке и срывает клерка со стула. Его сорвало; так он мне и сказал. Сорвало с якорей? сорвало с места? сорвало с привязи? Да все сразу. На следующий день (или через два дня? не помню, как он сказал) он вошел в ее кабинет, где она, сияя тонким красивым лицом и так таинственно, так привлекательно улыбаясь своими эффектными губами, уже ждала его визита. Он понял это по ее глазам, которые вдруг из карих стали черными, жаркими, веселыми; он понял это по тому, как она на одно мгновение, очень быстро, опустила глаза и тут же подняла их, словно ей нужна была секунда, чтобы настроить себя и спрятать в себе что-то. Все он увидел в этот момент: и ее хрупкие ресницы, колыхнувшиеся вниз и вверх, и ее губы, в углах которых крылось такое знание, которое его испугало, и ее белоснежную блузку с твердыми накрахмаленными манжетами, и ее тонкие длинные пальцы с овальными ногтями и изящным розовым маникюром. И ее голос тоже был тут. Он попытался объяснить мне что-то о ее голосе, о его модуляциях, которые так волнуют и привлекают его, и тут я был с ним согласен. Я слышал, как она говорит.

Я никогда не видел другой такой женщины, которая с первых же секунд знакомства, сразу же, начинала такую тонкую, такую неуловимую и при этом такую явную игру на поражение. Дело в том, что знакомясь со мной тогда на террасе,

она попыталась воздействовать на меня взглядом, и улыбкой, и голосом. Это было не просто женское кокетство в примитивной форме и не просто пошлый намек на флирт. Какой флирт? Зачем я ей был нужен? Но не следует искать в ее поведении логику, пристойность, связь или даже ум. Все это не то и не о том. Конечно, она была добродетельна и пристойна, как и подобает приличной светской женщине, конечно, она была умна, в чем я еще имел возможность убедиться, но сумма всех ее свойства и качества совсем не была ей. Она была чем-то другим. В ней, в этой высокой, статной женщине с идеальными бровями и карими глазами, которые умели вдруг менять цвет и мгновенно наливаясь жаркой, страстной тьмой, была какая-то непонятная – непонятная до поры до времени – и непреодолимая! – страсть к провокации. Она не могла не провоцировать мужчин. Она тут же, в первом же сиюминутном общении с ними, делала все, чтобы сбить их с толку, разрушить их стену, вывести их из себя, выдернуть их из почвы, за которую они так упорно и так привычно цеплялись корнями.

Голос ее был весь вверху в груди. Я заметил это, как только она произнесла первые слова, знакомясь со мной. Это было так странно. Голос ее жил вверху груди, в том месте, где синяя мужская рубашка с изящными намеком распахивала свой ворот. Я не склонен впадать в смятение от чего бы то ни было, но когда она произнесла несколько ничего не значащих слов, я одну секунду остолбенело смотрел в это ме-

сто – чуть выше начиналась ее такая длинная, такая белая шея, а чуть ниже в разрезе рубашки начинали свой подъем ее такие сладкие, такие восхитительно-спелые груди, груди женщины в расцвете ее красоты – и не знал, что сказать. Она смотрела на меня с улыбкой. Я полагаю, у меня было лицо человека, который в недоумении прислушивается к таинственному звуку, долетевшему из-за гор. Ее голос был столь негромким и столь на многое намекал своим сдержанным, точным звуком, что мгновение удивления было неизбежно. «Ах, ну да, конечно, очень приятно!», – сказал я, поднимая глаза с опозданием в полсекунды. Ее глаза смеялись. Она все знала и все понимала.

Господин Болдырев сказал мне, что сразу же, с первой секунды знал, что она нужна ему. Ее тонкая, выверенная провокация его просто взорвала. В нем в ту же секунду освободился и набрал немыслимую силу инстинкт захватчика, и чей-то голос громко и четко повторял у него в мозгу все последующие недели и месяцы: «Эта женщина будет моей!» Это была у него какая-то почти религиозная страсть к обладанию святыней. Она сразу же, как-то сама собой, вознеслась перед ним на немыслимую высоту красоты и страдания, и он сразу же, без промедлений, ринулся к ней, весь в огне. Что он хотел с ней сделать? Завоевать? Отнять? Овладеть? Спасти? Я думаю, его чувство по полноте и силе было сходно с тем, что испытывали крестоносцы, с горящей душой пускавшие к захваченному иноверцами и обещанному Иерусалиму.

Он к этому моменту не был ни отшельником, ни философом, ни человеком высокой морали, ни ловеласом, ни Дон Жуаном. Он был обычным мужчиной с типовым опытом. С двадцати четырех до двадцати девяти он был женат, потом развелся. Детей у него не было. Он жил в однокомнатной квартире на Юго-Западе, в районе улицы Ульянова, и до поры до времени был вполне доволен собой и своей жизнью. Он был выпускником престижного физтеха, но в нача-

ле девяностых ушел из отраслевого НИИ и подался в бизнес и к моменту, о котором идет речь, имел позицию, которая его вполне устраивала. В основном из-за конверта, в котором он получал зарплату. Он не говорил мне, сколько там было, но я предполагаю, что там содержалось вполне приличное для менеджера среднего звена количество купюр: полторы тысячи долларов? или даже две? Тогда доллар был другой, вы учтите. В компании он отвечал за крупных клиентов и за новые схемы логистики. С иронией, но одновременно и с гордостью он сказал мне, что был «в логистике крупный специалист». Эта фраза, произнесенная на берегу Женевского озера, в городе Монтре, на террасе с видом на Альпы, прозвучала с таким мягким, прекрасным юмором, что мы рассмеялись.

В таких делах никакие объяснения не доходят до конца. Мой методичный ум всегда требует ответа на простейшие вопросы: «Почему она так подействовала на него? Почему из всех мужчин, на которых она смотрела и которым улыбалась, только он так безумно, так окончательно сорвался с якоря?» Почему химия чувств работает между этими двумя и не возникает, когда мы меняем X на Y? Умозрительные вопросы, которые скорее доказывают сухость моей души и скучную трезвость ума, чем что-либо иное. Но я правда не понимаю. Это, наверное, и есть то, что так красиво и романтично называется «тайной любви».

У меня всегда, когда я думаю об этой тайне, начинает

кружиться голова. Мозг обмирает от усилия, не в состоянии представить, как рождается и работает связь человека с человеком в огромном море случайностей. Вся жизнь случайна. Наши передвижения, встречи, взгляды случайны. Наш разум близорук и не видит дальше ближайшего угла, наша воля смешна, когда речь идет о броуновском движении миллионов молекул в современном мегаполисе. И все-таки люди, предназначенные друг другу, находят один другого. У меня в этом нет сомнений. Правда, если говорить о господине Болдыреве и его жене, то лучше выбрать другое слово. Они были обречены друг на друга.

Тогда, в первые дни их знакомства (сказал мне он), у них состоялся разговор, который и сейчас казался ему очень важным. Еще ничего не было между ними. Они еще только сидели на офисных стульях по обе стороны офисных столов то в ее кабинете, то в его, и вели легкие, скользящие разговоры. В этих разговорах они как будто кружились вокруг той невидимой точки, о которой оба знали и к которой боялись и хотели приблизиться. И вдруг однажды – а он еще ни сказал ей ни слова о своих намерениях, хотя уже и думал о ней непрерывно, даже во сне – она, сидя за своим столом, украшенным громоздким компьютерным монитором, сказала ему своим негромким голосом, собранным наверху груди, сказала абсолютно серьезно и даже с легким, едва уловимым оттенком грусти: «Я должна сразу сказать, что не смогу ответить на ваши чувства».

О черт! Он остолбенел. О три тысячи чертей, о весь этот идиотский мир, с его миллионами человеческих молекул, летящих в никуда по абсурдным траекториям жизни, о ранняя московская осень за окном, усыпающая сухими кленовыми листьями серый асфальт тротуаров, о белый пластмассовый подоконник, с которого так просто и легко шагнуть в огромное светлое небо и полететь! Внутри него что-то сжалось от боли, тоски и жалости к ней. Все его мысли, все

его чувства вдруг, завихряясь, устремились по стенкам воронки вниз, сбегая в одну маленькую, густую, черную точку; и вслед за тем эта точки взорвалась, рассыпая во все стороны серебряные и синие звезды. Это был его гнев, его ярость.

Он еще ничего не сказал ей, еще не предложил ей себя, еще не расстелил перед ней карту новых волшебных территорий с залежами сокровищ, а она уже говорила ему «нет!». Так нельзя! Озабоченность на его приятном лице сменилось растерянностью, а потом гневом. Она внимательно смотрела на него, сидя за своим офисным столом. Зачем она сказала эту фразу? Была ли эта фраза способом подтолкнуть его вперед, выгнать вон из состояния витания и блуждания, робкого флирта и невинных намеков? Или она, зная себя и свою садистическую способность к уничтожению мужчин, решила честно предупредить его о том, что он сам не понимает, в какую историю сейчас попадет? Он не знал этого ни тогда, в возбуждении расхаживая широкими шагами по коридору офиса, устланному серым паласом, так же как не знал этого теперь, расслабленно откидываясь на спинку стула на террасе своего дома в Монтре.

Этой фразой она бросила ему вызов, и он его принял. Этой фразой она предупредила его о своей холодности, о своем безразличии, о своем эгоизме, о своей ледяной душе, о своей недостижимости. Он в ответ решительно перешел черту и пригласил ее на свидание. Не могли бы мы выпить кофе вместе, Ольга? Не согласитесь ли вы поужинать

со мной? Когда он говорил ей это в ее кабинете, такой искренний, такой пылкий, такой *уже готовый*, она молча смотрела на него покровительственным и сочувственным взглядом. И не отвечала ему ни «да», ни «нет». День, второй, третий, четвертый он приходил в ее кабинет и заводил разговор об их встрече, а она улыбалась улыбкой всезнания, и в глазах ее была нежность. Наконец, измаявшись, он сказал ей сердито: «В моем предложении нет ничего непристойного!» А она отреагировала в ту же секунду, мгновенно превращая себя в обжигающий светский лед: «Я не сомневаюсь. Иначе я бы с вами не разговаривала».

Конечно, оба врали. Конечно, между ними в остром сияющем свете московской осени уже вылепливалось яблоко соблазна: большое, крепкое, сочное, с зеленой тонкой шкуркой, которую распирает хрустящая белая плоть. Он в глубине души прекрасно знал, что его предложение непристойно. Он хотел выпить с ней кофе, поужинать вечером в ресторане, ощутить ее в своих объятиях, сжать ее плечи, проскользнуть руками по бедрам, раздеть ее, провести с ней ночь. Она в глубине души прекрасно знала, что его предложение выпить кофе означает именно это. И согласилась.

Он к этому моменту уже был так влюблен в нее, что, желая хоть как-то смягчить возбуждение и лихорадку, стал вечерами пить дома коньяк. Вероятно, его интерес к коньяку появился именно тогда. Вкус виски казался ему острым, как

бритва. В водке была тупость и грубость. Ром был слишком сладким и своей приторностью был ему неприятен. А вот в коньяке была благородная лечебная сила, умеющая расслабить нервы и согреть душу. Коньяк был врач. И вечерами, приходя из офиса в свою однокомнатную квартирку, он ощущал себя измотанным, выжатым, невероятно усталым. Эти беседы с ней отнимали у него силы. И тогда он лечил себя армянским коньяком, который покупал в продуктовом магазине, хозяином которого был армянин со странным именем Евпургий, давший торжественную клятву, что коньяк настоящий, неподдельный. Но он и сам это чувствовал.

Мы еще поговорим о привычках господина Болдырева, безобидных, немногочисленных и местами странных, а пока надо сказать, что он готовился к первому свиданию с ней в возбуждении и лихорадке, которые уже вполне можно назвать любовным помешательством. Так, он упорно, как над сложной логистической задачей, думал о том, в какой ресторан ни пойдут. Перебирал в уме рестораны и никак не мог найти правильный. В «Скандинавии» хорошо есть рыбу, но подходит ли этот солидный ресторан для первого романтического свидания? В «Скромном обаянии буржуазии» тесно и шумно, как на вокзале. В японском ресторане «Желтое море» на Полянке можно наслаждаться изысканной азиатской кухней, но он-то хотел не кулинарного пиршества, а пиршества души. В итоге он остановился на ресторане «Мастер и Маргарита» в переулке у Тверской – ныне его уже

не существует – и уже стоял перед зеркалом, разглядывая себя, облаченного в черную итальянскую рубашку и черные свободные брюки, изящно оттененные светло-серым узким ремешком, когда вдруг его мобильный заиграл мелодию. Он сказал мне, что сразу понял, что звонок не сулит ему ничего хорошего. Он взял трубку с плохим предчувствием, с тяжелым сердцем. И не ошибся.

– Это вы? – легко прощебетала она. – Вы знаете, мои планы изменились, я не смогу прийти!

– Почему? В чем дело?

– Ну ни в чем особенном... Мне просто надо в другом месте быть.

Он молчал.

Она засмеялась.

– О господи, я чувствую, у вас сейчас из макушки пойдет дым!, – вдруг сказала она ему таким веселым тоном, словно наблюдение за процессом его гибели доставляло ей неопишное наслаждение. Пауза, в которую он, высокий и здоровый мужчина тридцати пяти лет, превратился с маленькую конусообразную горочку черного пепла. И она повесила трубку.

Глава вторая

1

Дом господина Болдырева, в котором я в мой первый визит к нему провел три дня, не поражал ни размерами, ни убранством. Он совершенно не походил на те виллы, особняки и дворцы, что покупают себе наши богатые соотечественники в Англии и Франции. Двухэтажный, построенный из светлого кирпича и стекла безо всяких архитектурных изысков и излишеств, он в любом месте Земли был бы очень скромным домом, свидетельствовавшим об умеренном достатке его хозяев. В обычном, не фешенебельном Подмоскowie люди строят себе дома в пять раз больше, не говоря уже о Новорижском и Рублевском шоссе. Все это так, но только не забывайте одну маленькую подробность: этот дом находился в Монтре и стоял на берегу Женевского озера. И именно поэтому он стоил не просто дорого, а *очень* дорого.

Господин Болдырев и его жена жили в тут уже год или два, но дом не производил впечатление нормального жилья двух состоятельных людей. Казалось, они въехали сюда неделю назад или не были тут пару месяцев. За обедом в первый же день хозяин сказал мне, что они намерены в скором времени сделать ремонт и купить новую мебель, и его жена

кивнула, но когда я, в мой очередной визит в Швейцарию, снова приехал к ним в гости, дом был в прежнем состоянии. Прежде всего мебель. Я насчитал в доме пять или шесть видов стульев. Казалось, их не покупали, а притащили сюда, своровав или подобрав в разных местах: белый пластмассовый стул из летнего кафе, пара стульев с прямоугольными высокими спинками из музея быта двадцатых годов, еще три стула со спинками в форме лиры и на подогнутых ножках, купленные по случаю в антикварном магазине...

Тут были удивительные вещи. На кухне, как я уже сказал, стоял огромный старинный сервант, покрытый вишневым лаком, с бронзовыми ручками на дверцах; я думаю, прежний хозяине дома просто бросил его, не желая тащить в свою новую жизнь такую громоздкую и нелепую вещь. На кухне на бронзовых крюках висели массивные ножи с широкими лезвиями для разделки туш и огромный медный таз, в котором можно было бы сварить разом десять кило варенья или искупать ребенка. Похоже, когда-то тут жили хозяйственные люди, покупавшие свиные туши и варившие собственный домашний джем. Еще тут была большая, в полметра высотой, ручная кофейная мельница с белой фарфоровой ручкой, но я ни разу не видел, чтобы хозяева ей пользовались. По-моему, они покупали молотый кофе.

В маленькой темной прихожей под потолком висел плоский плафон с голубыми выцветшими цветами, но то ли в него набилось слишком много пыли, то ли лампочки бы-

ли слабые – в результате тут царил неприятный, давящий на мозги полусвет. Тяжелая деревянная лестница, тоже покрытая лаком, только желтоватым, вела на второй этаж. Эта деревянная лестница, изготовленная на заказ, явно не подходила к небольшому и современному дому. К тому же она отрезала от и без того маленькой прихожей солидный кусок. Здесь же, в углу, стоял деревянный сундук, когда-то голубой, а теперь облинявший и в мутном свете казавшийся сизым. Этот сундук просто-таки притягивал меня. Я никак не мог догадаться, что пара состоятельных россиян, переехавших на постоянное местожительство в Монтре, может держать в сундуке таких размеров. Оставшись однажды в прихожей один, я осторожно поднял тяжелую крышку – и увидел наваленную в беспорядке гору женских туфель. Их тут было безумное, немыслимое количество, и все вперемешку. Черные с серебристыми наконечниками на мысках, коричневые с золотистым шитьем, серые с черными гранеными каблукками, еще одни коричневые с мягким, округлым мыском и плоской подошвой. Но это, конечно, далеко не все. Наверх кучи выбралась одна черная лаковая лодочка с кремовым нутром, тогда как вторая сгинула где-то в глубине, а еще там валялось вверх острым тонким каблуком изящное произведение какого-то итальянского мастера... Было похоже, что весь этот парад свалили в сундук в тоске и отвращении и забыли о нем. Я давно не видел картины печальнее и безнадежнее, чем сто пар роскошных женских туфель, покинутых

в углу, находящихся в небрежении и забвении.

Оказываясь в темной прихожей один, я с любопытством рассматривал собранные тут вещи. Я чувствовал себя как любопытный пес, который пытается считать с вещей информацию об их владельцах. Например, тут на крюке висел черный берет. Большой. Он явно принадлежал ему, а не ей. Но я никогда не видел, чтобы он его носил. В господине Болдыреве было что-то такое, что исключало берет. Где же он его взял и зачем и почему хранил? Еще тут в углу стояла картонная коробка, перетянутая бечевкой, вещи в которой очевидно хранились с момента переезда. Они все никак не могли найти время их разобрать. Это было странно, учитывая, что хозяйка почти все время проводила в хлопотах по дому. Я видел, как она, стоя у кухонного стола, режет овощи, видел, как она скользит по дому с тряпкой в руке, вытирая пыль. Но дом все равно оставался беспорядочным, пыльным, сумрачным, хаотичным.

В большой комнате на втором этаже – они называли ее «зала» – на стенах в коричневых деревянных рамках висели раскрашенные гравюры с видами швейцарских городов. Я не мог представить, чтобы господин Болдырев и его жена покупали эти дешевые гравюры, их тоже оставил тут прежний владелец. Отчего они не сняли их или не заменили чем-то более пристойным и близким? Не знаю. Отчего они держали гардины на окнах полузадернутыми, словно берегли глаза от яркого света? Тоже не знаю. В середине залы стоял

овальный стол, за которым мы обедали (завтрак происходил на кухне, а ужинать мы часто ходили в какое-нибудь кафе в городе), и стол этот был слишком велик для троих. Когда мы садились за него, то оказывались отделены друг от друга большим пространством, что располагало на почти официальный, светский лад. Перед каждым из нас всегда стоял полный комплект тарелок – глубокая, плоская большая, плоская мелкая – и лежали тяжелые ножи и вилки из старого, потемневшего металла. Не думаю, что это серебро, скорее мельхиор. Такой набор ножей, вилок и ложек на двадцать четыре персоны был у моих родителей. Вещь пятидесятих годов, произведенная на каком-то уральском заводе, солидная, серьезная. Было странно встретить этого посланца из советского прошлого на берегу Женевского озера в Мontre. Кто из них привез набор ножей и вилок с собой из Москвы, кто захватил его в новую жизнь в спазматическом желании спасти хоть что-то из старой? И этого я не знаю.

Они осели тут основательно, собирались жить тут всю жизнь и с подчеркнутым, настойчивым оживлением говорили мне о том, как прекрасны восходы и закаты на берегу озера, в этом восхитительном месте – и все-таки вели себя так, как будто находились в зале ожидания на вокзала. В моей спальне, в изголовье моей кровати, стоял нераспакованный чемодан, с которого даже не была снята бирка «Аэрофлота». Он стоял там всегда, сколько бы я не приезжал к ним. Тяжелая трость с массивной изогнутой ручкой светлого дерева то-

же всегда стояла, прислонившись к стене в прихожей, словно кто-то сейчас собирался идти с ней на прогулку; но никому тут трость не была нужна. Так же как несколько черных чугунных пепельниц девятнадцатого века, грубых, массивных, расставленных в разных местах этого странного дома. Хозяева не курили.

Когда я приехал к ним через пять или шесть месяцев после нашей первой встречи, они все так же собирались сделать ремонт и купить новую мебель. И высокая красивая женщина все так же бродила по дому с задумчивым лицом и с тряпкой в руке. Сидя на террасе, я видел сквозь стекло, как она однажды поставила в центр комнаты стул, скинула с ног коричневые туфли без задника и залезла на него. Она стояла на стуле, в темно-синей мужской рубашке и джинсах, тонкая, с распущенными по плечам красноватыми волосами, и осторожно протирала от пыли металлическую люстру с восемью матовыми плафонами. Она делала это с таким тихим, отрешенным выражением лица, что было ясно: это медитативное занятие нужно ей лишь для того, чтобы было удобнее думать о чем-то своем, далеком.

Снег кончился, и проглянуло солнце. К дому подъехало такси – бежевый «Мерседес» с черными кожаными сиденьями – хозяева уселись в него и поехали на прием к психиатру. Два раза в неделю они вдвоем ездили к знаменитому швейцарскому врачу, д-р. Иоахиму Фингельбайну, работавшему в психиатрической клинике Лозаннского университета. Прием у д-р. Фингельбайна стоил столько, что появлялась нестерпимая мысль как-нибудь выздороветь самому, и побыстрее; это был врач, обслуживавший неврозы и комплексы высшего швейцарского класса. Господин Болдырев говорил мне, что попасть к нему в пациенты стоило больших усилий. О деньгах он даже и не заикался. Его рекомендовал знаменитому доктору один швейцарский издатель, которому господин Болдырев как-то раз оказал некоторые услуги в Москве. Доктор не хотел иметь дела с русскими, он считал их выскочками и нуворишами, нагрянувшими в его благородный заповедник; но когда он узнал, что речь идет о молодой красивой женщине, страдающей расстройством психики после некоторых тяжелых событий личной жизни, случившихся с ней в дикой, варварской Московии, он смиростливился и назначил приемные часы. Пока его жена, вытянувшись с закрытыми глазами на мягком длинном диване под коричневыми лошадаками на зеленом лугу (Дега, подлинник), отвечала на во-

просы доктора, господин Болдырев часами листал журналы в приемной. Он говорил мне, что диван, на который ложилась его жена, еще излучал тепло тела предыдущей пациентки, которой была принцесса Марианна Вильгельмина Цуфрида Ангальт-Цербская, принадлежавшая к тому же роду, что императрица Екатерина Великая.

Итак, господин Болдырев и его жена уехали к др. Фингельбайну в Лозанну, а я пешком отправился в Шильонский замок. За час с лишним пути по асфальтовой дороге вдоль озера я не встретил ни души. Снова меня удивляла и потрясала чистота здешнего мира. Гигантский божественный пылесос вытянул из воздуха все малейшие частицы грязи и пыли. Или ангелы, незримо витающие над водной гладью, ежечасно протирают тряпками эту воздушную линзу? Воздух над озером был видим и невидим, ощущался и был незаметен. То вдруг мне казалось, что он такой осязаемый и плотной, что его холодную массу можно резать ножом на кубики и пласты; а то вдруг я чувствовал, что там, дальше, в километре от берега, над серебристой рябью воды, воздух исчезает, истаивает, разлетается всеми своими молекулами по дальним Галактикам. Освещенные солнцем горы на той стороне озера доставали до середины неба и выглядели настолько новенькими, будто Бог создал их вчера после обеда; а что делал Бог сегодня с утра? Сегодня с утра он пропустил все это озеро, все его миллионы тонн воды, через маленькое серебристое ситечко у себя в руке, и вода теперь излучала прекрасный

холодный свет, как живое серебро.

В Шильонском замке, как известно, три года сидел прикованным цепью к стене швейцарский епископ, боровшийся за свободу. Его имя я забыл. Я вообще плохо запоминаю имена и даты, хотя отлично помню лица и голоса. Я в одиночестве походил по подземелью, где на стене еще оставалось кольцо, к которому он был прикован, а рядом была выцарапана надпись, сделанная, по преданию, лордом Байроном, тоже явившимся сюда любопытным туристом. Потолок был сводчатый, подвал разделен надвое аркой, в соседнем помещении, надо полагать, сидела стража. В толстых стенах прорезаны узкие окна, в которых видна спокойная гладь серой, чуть дымящейся туманом воды. В подземелье и вообще во всем замке было холодно, стража жгла костры прямо на полу и жарила в огне куски мяса, насаженные на кинжалы, а между костров и стражников на длинной цепи бродил несчастный епископ с седой развевающейся бородой и безумием во взоре. Какие пророчества он вещал этим грубиянам, жравшим мясо с кинжалов и тешивших брюхо тяжелым, густым темным пивом? Где у них всех был тут туалет? Этого я никак не мог понять. Бойницы были слишком узки и глубоки для этого.

Когда я по шатким дощатым переходам выбрался на самый верх замка, то увидел большую – размах крыльев чуть ли не метр – чайку, которая своими крыльями перечеркивала холмистый берег. Она летела так медленно, что ка-

залось, будто она висит на месте. Глядя на большую, мощную птицу с черной головой, планировавшую над водой, я снова ощутил необязательность человека в этих прекрасных местах. Епископ на цепи и лорд Байрон, носившийся по миру в поисках бури, показались мне плоскими карикатурными изображениями, вроде тех, что я видел в детстве в советских газетах. Там с едкой злобой изображался Дядя Сэм в цилиндре и с козлиной бородкой. Звездно-полосатые штаны обтягивали его тонкие ноги. Еще я помнил карикатуру, изображавшего отвратительно-толстого, с выпученными глазами и со студнеобразными щеками немецкого реваншиста, тянувшего скрюченные пальцы к атомной бомбе. Бомба, кстати, была изображена с большим чувством, с большой любовью: пузатенькая, ладная, черная, с реалистично нарисованным стабилизатором и с большой буквой А на боку.

Что ж, эта теория тоже имеет право на существование, как и любая другая. Да, мы созданы по образу и подобию Божьему, но означает это совсем не то, о чем с таким пафосом и надрывом вот уже тысячу лет спорят богословы и философы. Просто все мы – карикатуры. Все человечество, все наши герои, путешественники, фельдмаршалы, мудрецы, миллионеры и вожди нищих – всего-навсего забавные движущиеся фигурки, которые Он в приступе самоиронии сделал сам для себя. А зачем Он это сделал? О, на этот вопрос у меня нет ответа, и, стоя на старинной крепостной стене и глядя вниз, на присыпанные снегом серые черепичные крыши

грубых замковых строений, я мог только догадываться. Я стоял в небе, выше меня уже ничего не было, кроме одинокой чайки, холодная голубизна с кремовыми косыми полосками вытягивалась прямо над моей головой. Вытяни руку вверх, окуни ее в голубизну – и ощути в сжатом кулаке комок нежной, влажной плоти. Может быть, наш Бог еще юн и ему необходимы игрушки? Может быть, он смешлив и любит смотреть на забавных бегающих человечков, которые сажают друг друга на цепь? Я спустился вниз, в конторе замка купил в подарок моим хозяевам две бутылки вина Шильонского замка, красного и белого, и отправился в обратный путь.

Тем вечером мы снова сидели с господином Болдыревым на террасе, укрывшись пледами, и смотрели, как горы по ту сторону озера медленно погружаются во тьму. Вечер в этих местах проходит несколько стадий. Сначала это едва заметная дымка в небесах и легкое помрачение на сияющей глади вод; затем приходит голубизна и накрывает длинную пустынную набережную. Вспыхивают фонари. Голубой густеет, переходит в фиолетовый. А затем быстро нарастает ночь, так, словно Он быстрыми штрихами своей божественной кисти заштриховывает пространство. Но и в наступившей ночи всегда узнаешь присутствие человека. Там, справа, где город, по-прежнему дырявят ночь раскаленные белым неомом головки фонарей, и крутые склоны гор, взбирающихся

в небо прямо с обочины улицы, покачиваются в грязно-коричневом, кофейном цвете. Это свет города размягчил, разбавил и размазал ночь. А на той стороне озера, в километре или двух, а может, в пяти – я никогда не знал, сколько в этих местах Женевское озеро в ширину – черный доходит до степени абсолюта. В черном воздухе, под черными небесами черными едва различимыми силуэтами угадываются горы, и у самого их подножья светятся несколько жалких человеческих огоньков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.